Великие биографии

Мой муж — Сергей Есенин

Айседора гладит поэта по льняным кудрям и нежно говорит одно из немногих знакомых ей русских слов: «Ангелъ». Потом, заглянув ему в глаза, добавляет: «Чиорт!»

Айседора Дункан

Великие биографии

Айседора Дункан

Мой муж Сергей Есенин

«Издательство АСТ»
2014

Дункан А.

Мой муж Сергей Есенин / А. Дункан — «Издательство АСТ», 2014 — (Великие биографии)

Страстный, яркий и короткий брак американской танцовщицы Айседоры Дункан и русского поэта Сергея Есенина до сих пор вызывает немало вопросов. Почему двух таких разных людей тянуло друг другу? Как эта роковая любовь повлияла на творчество великого поэта и на его трагическую смерть?Предлагаем читателю заглянуть в воспоминания, написанные одной из самых смелых и талантливых женщин прошлого века, великой танцовщицы – основательницы свободного танца, женщины, счастье от которой, чуть появившись, тут же ускользало.

© Дункан А., 2014
© Издательство АСТ, 2014

Содержание

От автора 5
Моя жизнь 8
1 8
2 11
3 16
4 20
5 23
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Айседора Дункан
Мой муж Сергей Есенин

От автора

Сознаюсь, меня охватил ужас, когда мне впервые предложили написать книгу. Я пришла в ужас не потому, что жизнь моя менее интересна, чем любой роман, или в ней меньше приключений, чем в фильме, не потому, что моя книга, даже хорошо написанная, не явилась бы сенсацией эпохи, но просто потому, что предстояло ее написать!

Мне понадобились годы исканий, борьбы и тяжелого труда, чтобы научиться сделать один только жест, и я достаточно знаю искусство письма, чтобы понять, что мне потребуется столько же лет сосредоточенных усилий для создания одной простой, но красивой фразы. Сколько раз мне приходилось повторять, что можно проложить себе дорогу к экватору, проявить чудеса храбрости в схватках со львами и тиграми, пытаться написать об этом книгу и потерпеть неудачу и в то же время можно, не покидая веранды, написать книгу об охоте на тигров в джунглях так увлекательно, что читатели поверят в правдивость автора, будут вместе с ним переживать его страдания и тревоги, чувствовать запах хищников и ощущать страх приближения гремучей змеи. Казалось, будто все существует только в воображении и что удивительные события, случившиеся со мной, потеряют свою остроту только потому, что я не обладаю пером Сервантеса или даже Казановы.

Далее. Как можем мы написать правду о самом себе? Да и знаем ли мы ее? Существует множество представлений о нас: наше собственное, мнение наших друзей, любовника и, наконец, врагов. У меня есть основательные причины это знать: вместе с кофе мне подавали по утрам газетные рецензии, из которых я узнавала, что я красива, как богиня, и гениальна; еще не перестав радостно улыбаться, я брала другой лист и узнавала, что я бесталанна, плохо сложена и настоящая ехидна.

Я скоро перестала читать критику своей работы. Я не могла требовать, чтобы мне доставляли только хорошие отзывы, а дурные слишком расстраивали и пробуждали скверные инстинкты. В Берлине один критик осыпал меня оскорблениями, утверждая, между прочим, что я совершенно немузыкальна. Я написала ему, умоляя посетить меня и выражая безусловную уверенность, что мне удастся убедить его в противном. Он пришел, и я, сидя по другую сторону стола, полтора часа толковала ему о своих теориях зрительного движения, созданного музыкой. Я заметила, что господин этот очень солиден и прозаичен, но каково было мое удивление, когда он вытащил из кармана слуховую трубку и сообщил мне, что совершенно глух и даже через рожок почти не слышит оркестра, хотя и сидит в первом ряду кресел! Вот каким оказался человек, взгляды которого мучили меня в течение нескольких ночей…

Как же описать себя в книге, если посторонние с разных точек зрения видят в нас различных людей? Описать ли себя в виде целомудренной Мадонны, Мессалины, Магдалины или Синего Чулка? Где мне найти образ женщины, пережившей все мои приключения?

Женщина или мужчина, которые напишут правду о своей жизни, создадут величайшее произведение. Но истину о своей жизни никто не осмеливается написать. Жан-Жак Руссо принес человечеству эту величайшую жертву и сдернул завесу с тайников своей души, со своих самых сокровенных дум и мыслей, в результате чего и родилась великая книга. Уотт Уитман открыл правду Америке. Его книга была одно время запрещена как «безнравственная». Выражение это кажется нам теперь нелепым. Ни одна женщина никогда не сказала полной правды о своей жизни. Автобиографии знаменитых женщин являются чисто внешним отчетом, пол-

ным мелких деталей и анекдотов, которые не дают никакого понятия об истинной жизни. Они странно замалчивают великие минуты радости или страдания.

Мое искусство – попытка выразить в жесте и движении правду о моем Существе. На глазах у публики, толпившейся на моих спектаклях, я не смущалась. Я открывала ей самые сокровенные движения души. С самого начала жизни я танцевала. Ребенком я выражала в танце порывистую радость роста, подростком – радость, переходящую в страх при первом ощущении подводных течений, страх безжалостной жестокости и уничтожающего поступательного хода жизни.

В возрасте шестнадцати лет мне случилось танцевать перед публикой без музыки. В конце танца кто-то из зрителей крикнул: «Это – Девушка и Смерть!» – и с тех пор танец стал называться «Девушка и Смерть». Но я не это хотела изобразить, я только пыталась выразить пробуждающееся сознание того, что под каждым радостным явлением лежит трагическая подкладка. Танец этот, как я его понимала, должен был называться «Девушка и Жизнь». Позже я начала изображать свою борьбу с Жизнью, которую публика называла Смертью, и мои попытки вырвать у нее призрачные радости.

Что может быть дальше от действительной жизненной личности, чем герой или героиня заурядной кинематографической пьесы или романа? Обычно наделенные всеми качествами, они не были бы способны совершить дурного поступка. Он наделяется благородством, храбростью, смелостью и т. д., и т. д. Она – непорочностью, добротой и т. д. Все худшие свойства и грехи созданы для злодея и «дурной женщины», в то время как в действительности, как нам известно, не бывает ни плохих, ни хороших людей. Не все преступают десять заповедей, но способны на это безусловно все. Внутри нас скрывается нарушитель законов, готовый проявиться при первом удобном случае. Добродетельные люди только те, кто не имел достаточно соблазнов, потому что живут растительной жизнью, или те, кто до такой степени устремляет свои помыслы в одном направлении, что не имеют времени взглянуть вокруг себя.

Я однажды смотрела удивительную фильму, названную «Рельсы», созданную на тему о том, что жизнь человеческих существ подобна паровозу, идущему по определенному пути. Если паровоз сходит с рельс или встречает непреодолимое препятствие, происходит катастрофа. Счастлив тот машинист, который, увидя перед собой крутой спуск, не чувствует дьявольского желания пренебречь тормозами и ринуться к гибели.

Меня иногда спрашивали, считаю ли я любовь выше искусства, и я отвечала, что не могу их разделять, так как художник – единственный настоящий любовник, у него одного чистый взгляд на красоту, а любовь – это взгляд души, когда ей дана возможность смотреть на бессмертную красоту.

Одной из самых замечательных личностей нашего времени является, может быть, Габриэль д'Аннунцио, хотя он невысок ростом и может быть назван красивым только тогда, когда его лицо освещается внутренним огнем. Но, обращаясь к той, кого любит, он становится настоящим Фебом-Аполлоном и добивается любви самых великих и прекрасных женщин наших дней. Когда д'Аннунцио любит женщину, он поднимает ее дух до божественных высот, где витает Беатриче. Он превращает каждую женщину в часть божественной сущности и уносит ее ввысь, пока она не проникается верой, что находится с Беатриче, о которой Данте спел свои бессмертные строфы. В Париже было время, когда культ д'Аннунцио достиг такой высоты, что он был любим самыми знаменитыми красавицами. Он облекал тогда каждую избранницу по очереди в блестящее покрывало. Она поднималась над головами простых смертных и шествовала, окруженная чудным сиянием. Но каприз поэта проходил, покрывало спадало, сияние меркло, и женщина снова превращалась в обыкновенное существо. Не отдавая себе отчета в том, что, собственно, случилось, она лишь сознавала, что внезапно вернулась на землю и, оглядываясь на свой образ, перевоплощенный любовью д'Аннунцио, начинала понимать, что никогда в жизни не найдет больше гения любви. Оплакивая свою судьбу, она приходила все в

большее и большее отчаяние, пока люди, глядя на нее, не начинали говорить: «Как мог д'Аннунцио любить такую заурядную заплаканную женщину?» Габриэль д'Аннунцио был таким великим любовником, что мог на мгновение придать облик небесного существа самой обыкновенной смертной.

Только одна женщина в жизни поэта могла выдержать такое испытание. Она сама была перевоплощением божественной Беатриче, и д'Аннунцио не надо было набрасывать на нее покрывала. Я всегда считала, что Элеонора Дузе – истинное перевоплощение дантовской Беатриче, и поэтому, преклоняясь перед ней, д'Аннунцио мог только пасть на колени. Во всех других женщинах он находил то, что давал сам; одна Элеонора парила над ним, вселяя в него божественное вдохновение…

Как мало знают люди о силе тонкой лести! Волшебная похвала д'Аннунцио, по-моему, то же для современной женщины, чем был для Евы голос змея в раю. Д'Аннунцио может каждую женщину заставить чувствовать себя центром Вселенной. Мне вспоминается одна замечательная прогулка с ним в Форэ. Мы остановились и замолчали. Вдруг д'Аннунцио вскричал: «О, Айседора, с одною вами можно вступать в общение с Природой! Рядом с другими женщинами Природа исчезает, вы одна становитесь частью Ее. – (Какая женщина могла бы устоять перед такой оценкой?) – Вы составляете часть зелени и неба, вы – верховная богиня Природы…» В этом заключался гений д'Аннунцио: он убеждал каждую женщину, что она богиня того или иного мира.

Лежа здесь, на кровати в «Негреско», я пытаюсь определить то, что называется памятью. Я чувствую, как печет южное солнце. Я слышу голоса детей, играющих в соседнем парке, я ощущаю теплоту собственного тела. Я гляжу на свои обнаженные ноги и вытягиваю их, на нежную грудь, на руки, которые никогда не бывают спокойны, а мягко и волнообразно движутся, и вдруг сознаю, что уже двенадцать лет я утомлена, в груди таится непрекращающаяся боль, на руках лежит печать грусти, и когда я одна, глаза редко бывают сухи. Слезы льются уже двенадцать лет, с того дня, когда меня, спящую на другом ложе, разбудил громкий крик. Я обернулась и увидела Л., который казался тяжело раненным: «Дети убиты…»

Помню, меня охватило странное болезненное состояние; в горле жгло, будто я проглотила раскаленный уголь. Я не могла понять; я нежно заговорила с ним, пыталась успокоить, сказала, что это не может быть правдой. Затем вошли другие, но я не могла воспринять происшедшего. Появился человек с темной бородой, доктор, как мне сказали. «Это неправда, – сказал он, – я их спасу».

Я ему поверила, хотела пойти вместе с ним, но меня удержали. Впоследствии я узнала, что меня не пускали, так как не хотели, чтобы я знала, что надежды нет. Боялись, что удар лишит меня рассудка, но в то время я была в странно приподнятом состоянии. Все вокруг меня плакали, но мои глаза были сухи, и я испытывала огромное желание утешать других. Обращаясь к прошлому, мне трудно понять свое необыкновенное настроение. Была ли я действительно в состоянии ясновидения, сознавая, что смерти не существует, и что эти две маленькие холодные восковые фигурки – не мои дети, а только их сброшенные покровы? Что души моих детей живут в сиянии и будут вечно жить? Только два раза раздается крик матери, который она слышит будто со стороны: при рождении и при смерти ребенка. Когда я почувствовала в своих руках эти холодные ручки, которые никогда больше не пожмут моих, я услышала мой крик – тот же крик, который я слышала при родах. Почему тот же – один раз крик высшей Радости, другой – Печали? Не знаю почему, но знаю, что тот же. Может быть, во всей Вселенной существует всего один Вопль, Вопль Печали, Радости, Упоения, Страдания, Вопль Космоса?

Моя жизнь

1

Характер ребенка определяется уже в утробе матери. Перед моим рождением моя мать, находясь в очень трагическом положении, испытывала сильнейшие душевные потрясения. Она не могла питаться ничем, кроме замороженных устриц и ледяного шампанского. На вопрос о том, когда я начала танцевать, я отвечаю: «Во чреве матери, вероятно, под влиянием пищи Афродиты – устриц и шампанского».

В то время моя мать переживала столько трагического, что часто говорила: «Ребенок, который родится, не может быть нормальным» – и ожидала рождения чудовища. И действительно, оказывается, что едва появившись на свет, я с таким бешенством начала двигать руками и ногами, что мать воскликнула: «Видите, я была совершенно права, ребенок безумен!» Но позже, когда меня ставили в детской распашонке на середину стола, я танцевала под всякую мелодию, которую мне играли, и служила забавой всей семье и друзьям.

Моим первым воспоминанием является пожар. Я помню, как меня выбросили из окна верхнего этажа на руки полицейскому. Мне должно было быть около двух или трех лет, но среди волнения, криков и пламени я ясно помню чувство успокоения и безопасности, охватившее меня, когда я обвила маленькими ручками шею полицейского. Он, вероятно, был ирландец. Я слышу отчаянные крики матери: «Мои мальчики, мои мальчики!» – и вижу, как толпа не позволяет ей броситься в горящее здание, в котором, как она думала, остались мои два брата. Затем вспоминаю двух мальчиков, сидящих на полу бара и надевающих чулки и башмаки, вспоминаю внутренность экипажа, вспоминаю себя сидящей на прилавке и пьющей горячий шоколад.

Я родилась у моря и заметила, что все выдающиеся события моей жизни происходили поблизости от него. Мои первые мысли о движениях и танце были безусловно навеяны ритмом волн. Я родилась под знаком Афродиты, вышедшей из морской пены; события всегда мне благоприятствуют, когда ее звезда восходит. В эти периоды жизнь моя течет легко, и я могу творить. Я заметила тоже, что исчезновение этой звезды обычно влечет за собой ряд несчастий. В наши дни астрология не имеет, может быть, того значения, которое имела во времена древних египтян и халдеев, но нет сомнения, что наша психическая жизнь находится под влиянием планет. Если бы родители это лучше сознавали, они бы изучали звезды, чтобы производить более красивых детей.

Кроме того я считаю, что жизнь ребенка складывается различно в зависимости от того, родился ли он у моря или в горах. Море всегда манило меня к себе, тогда как в горах у меня появляется смутное чувство стеснения и желание бежать. Там я всегда испытываю ощущение, что я пленница земли. Глядя на их вершины, я не восхищаюсь, как остальные туристы, а только стремлюсь перелететь через них и освободиться. Моя жизнь и мое искусство рождены морем.

Я должна быть признательна матери за то, что она была бедна, когда мы были молоды. Она не была в состоянии нанимать прислуг и гувернанток, и этому обстоятельству я обязана непосредственностью в жизни, непосредственностью, которую я выражала еще ребенком и не утеряла никогда. Мать моя была музыкантша и преподавала музыку ради куска хлеба. Она целыми днями не бывала дома и иногда отсутствовала по вечерам, так как давала уроки на дому у учеников. Я бывала свободна, когда покидала школу, представлявшуюся мне тюрьмой. Я могла одна бродить у моря и отдаваться собственным фантазиям. Как мне жаль детей, которых я вижу постоянно в сопровождении нянек и бонн, постоянно опекаемых и нарядно одетых. Какие возможности представляются им в жизни? Мать была слишком занята, чтобы думать об

опасностях, которым могли подвергаться дети. Вот почему оба мои брата и я могли свободно отдаваться своим бродяжническим наклонностям, завлекавшим нас иногда в приключения, которые привели бы мать в сильное беспокойство, если бы она о них узнала. К счастью, она оставалась в блаженном неведении. Я говорю, к счастью для меня, так как именно этой дикой и ничем не стесняемой жизнью моего детства я обязана вдохновению танца, который создала и который был лишь выражением свободы. Я никогда не слышала постоянного «нельзя», которое, как мне кажется, делает жизнь детей сплошным несчастьем.

Я очень рано стала ходить в школу, с пяти лет. Я думаю, что моя мать не совсем точно сообщила мой возраст. Необходимо было найти место, где бы меня оставлять. Я считаю, что в раннем детстве уже ясно определяется, что человеку суждено делать в последующей жизни. Уже тогда я была танцовщицей и революционеркой. Мать моя, крещенная и воспитанная в ирландской католической семье, была ревностной католичкой до тех пор, пока не убедилась, что отец вовсе не тот образец совершенства, каким он ей всегда представлялся. Она развелась и покинула его, уйдя с четырьмя детьми навстречу миру. С этого момента ее вера в католическую церковь резко повернула в сторону определенного атеизма.

Мать, между прочим, решила, что всякая сентиментальность – бессмыслица, и раскрыла нам тайну Санта-Клаус, еще когда я была совсем крошкой. Результат был тот, что, когда учительница раздавала пирожные и конфеты на школьном рождественском празднике, говоря: «Смотрите, дети, что вам принес Санта-Клаус», я встала и торжественно заявила: «Я вам не верю, никакого Санта-Клауса не существует». Учительница очень взволновалась. «Конфеты только для девочек, которые верят в Санту», – сказала она. «Тогда мне не нужны ваши конфеты», – ответила я. Учительница неосторожно вспылила и велела мне выйти вперед и сесть на пол в назидание другим. «Я не верю обману! – крикнула я. – Мать мне сказала, что слишком бедна, чтобы быть Сантой; только богатые матери могут изображать Санта-Клауса и делать подарки».

Тут учительница схватила меня и пыталась усадить на пол, но я напрягла ноги и уцепилась за нее; таким образом, ей только удалось поколотить моими каблуками по паркету. Потерпев неудачу, она поставила меня в угол, но и стоя там, я обернулась и продолжала кричать: «Санты нет!.. Санта-Клауса нет!», пока в конце концов она не была вынуждена отправить меня домой. Всю дорогу я кричала: «Санты нет!» У меня никогда не изгладилось из памяти чувство несправедливости от того, что со мной так поступили, лишив конфет и наказав за сказанную правду. Когда я рассказала это матери, говоря: «Ведь я была права? Санты не существует?», она ответила: «Санта-Клауса нет, и Бога тоже, только собственный дух может тебе помочь».

Мне кажется, что общее образование, получаемое ребенком в школе, совершенно бесполезно. Я вспоминаю, что в школе меня считали или самой сообразительной и первой ученицей, или безнадежно глупой и последней в классе. Все зависело от ухищрений памяти и от того, брала ли я на себя труд запомнить заданное на уроке. В действительности же я не имела понятия, о чем идет речь. Классные занятия, независимо от того, была ли я первой или последней, были для меня утомительными часами, в продолжение которых я следила за часовой стрелкой, пока она не доходила до трех и мы не становились свободными. Настоящее образование я получала по вечерам, когда мать играла нам Бетховена, Шумана, Шуберта, Моцарта или Шопена и читала вслух Шекспира, Шелли, Китса и Бернса. Эти часы были полны очарования. Большую часть стихов мать читала наизусть, и я, подражая ей, привела в восторг своих слушателей, прочитав на школьном празднике в возрасте шести лет «Призыв Антония к Клеопатре» Уильяма Литля.

В другой раз, когда учительница потребовала, чтобы каждый ученик написал историю своей жизни, мой рассказ имел приблизительно такой вид: «Когда мне было пять лет, у нас был домик на 23-й улице. Мы не могли там оставаться, так как не заплатили за квартиру, и переехали на 17-ю улицу. У нас было мало денег, и вскоре хозяин запротестовал, поэтому мы

переехали на 22-ю улицу, где нам не позволили мирно жить, и мы переехали на 10-ю улицу». Рассказ продолжался в том же духе с бесконечным количеством переездов. Когда я встала, чтобы прочесть его классу, учительница очень рассердилась. Она подумала, что это злая шутка с моей стороны, и послала меня к начальнице, которая вызвала мою мать. Когда бедная мать прочла сочинение, она расплакалась и поклялась, что в нем одна лишь правда. Таково было наше кочевое существование.

Я не могу припомнить, чтобы я страдала от бедности у нас дома, где все принималось как должное; я страдала только в школе. Для гордого и чувствительного ребенка система общественных школ, какой она мне припоминается, была так же унизительна, как исправительное заведение. Я всегда возмущалась ею.

Когда мне было около шести лет, мать, вернувшись как-то домой, увидела, что я собрала с десяток соседских малюток, еще не умевших ходить, и, усадив их перед собой на пол, учила двигать руками. Когда она попросила объяснений, я ей объявила, что это моя школа танцев. Это ее позабавило, и, усевшись за рояль, она стала мне играть. Моя школа продолжала существовать и сделалась очень популярной. Немного спустя окрестные девочки начали приходить ко мне, и их родители стали платить небольшую сумму за учение. Так было положено начало тому занятию, которое впоследствии оказалось очень выгодным.

Когда мне исполнилось десять лет, класс сильно увеличился и я заявила матери, что дальше ходить в школу бесполезно. Это пустая трата времени, раз я могу зарабатывать деньги, что я считала значительно более важным. Я подняла волосы и стала причесываться наверх, говоря, что мне шестнадцать лет. Все мне поверили, так как я была очень большого роста для своих лет. Сестра Элизабет, которая воспитывалась у бабушки, позже поселилась с нами и тоже стала преподавать в этих классах. Наша школа была в большом ходу, и мы давали уроки в самых богатых домах Сан-Франциско.

2

Я никогда не видела отца, так как мать с ним развелась, когда я была еще грудным ребенком. Однажды, когда я спросила одну из своих теток, был ли у меня когда-либо отец, она мне ответила: «Твой отец был чертом, погубившим жизнь твоей матери». С тех пор я стала себе рисовать отца в виде черта с рогами и хвостом, точно из книги с картинками, и всегда молчала, если дети в школе говорили об отцах.

Когда мне было семь лет и мы жили в двух пустых комнатах на третьем этаже, я как-то услышала звонок у парадной двери и, выйдя в переднюю, чтобы открыть, увидела очень красивого господина в цилиндре. Он спросил:

– Не можете ли вы мне указать квартиру г-жи Дункан?

– Я дочь г-жи Дункан, – сказала я в ответ.

– Неужели это моя принцесса Мопсик? – спросил незнакомец. (Так он называл меня, когда я была еще крошкой.)

И он внезапно обнял меня и стал покрывать поцелуями и слезами. Я была поражена таким поведением и спросила его, кто он такой? Со слезами на глазах он мне ответил: «Я твой отец».

Я пришла в восторг от такой новости и побежала рассказать семье.

– Пришел человек, который говорит, что он мой отец.

Мать встала, бледная и взволнованная, и, пройдя в другую комнату, заперлась в ней на ключ. Один из братьев спрятался под кровать, а другой в шкаф, в то время как у сестры сделалась истерика.

– Скажи ему, чтобы он уходил, скажи, чтобы уходил! – кричали они.

Мое удивление было очень велико, но, как вежливая девочка, я вышла в переднюю и заявила:

– У нас дома неважно себя чувствуют и сегодня никого не могут принять.

Тогда незнакомец взял меня за руку и предложил пойти с ним пройтись. Мы спустились по лестнице на улицу. Я шла рядом с ним вприпрыжку, растерянная и восторженная, при мысли, что этот красивый господин – мой отец и что у него нет ни хвоста, ни рогов, каким я себе всегда его представляла. Он меня повел кондитерскую, напичкал мороженым и пирожными. Я вернулась домой в состоянии дикого волнения, но нашла домашних в мрачном и угнетенном настроении.

– Он просто очаровательный человек и завтра снова собирается за мной зайти, чтобы угостить мороженым, – рассказывала я.

Но домашние отказались его видеть, и он немного погодя вернулся к другой своей семье в Лос-Анджелес. Я несколько лет не видела отца после этого случая, как вдруг он появился снова. Мать теперь смягчилась настолько, что согласилась ним встретиться, и он нам подарил прекрасный дом с большими залами для танцев, с площадкой для тенниса, с амбаром и ветряной мельницей. Подарок объяснялся тем, что отец разбогател в четвертый раз. В своей жизни он три раза богател и три раза все терял. С течением времени и четвертое богатство пошло прахом, и с ним пропали дом и все остальное. Но на несколько лет, пока мы там жили, дом этот послужил нам убежищем между двумя бурными этапами жизни.

Перед его разорением я, время от времени встречаясь с отцом, узнала, что он поэт, и научилась его ценить. Среди его произведений находилось одно стихотворение, которое заключало в себе как бы предсказание всей моей карьеры.

Я передаю отрывки из биографии моего отца, потому что эти впечатления ранней молодости оказали огромное влияние на мою последующую жизнь. С одной стороны, я насыщала ум чтением сентиментальных романов, тогда как с другой у меня перед глазами был живой пример брака на практике. Над всем моим детством, казалось, витала мрачная тень загадочного

отца, о котором никто не желал говорить, и страшное слово «развод» глубоко запечатлелось на чувствительной пластинке моего разума. Я пыталась сама найти объяснения всему этому, так как никого не могла расспросить. Большинство романов, которые я читала, кончались свадьбой и блаженным счастьем, о котором не имело больше смысла писать. Но в некоторых книгах, вроде «Адама Вида» Джорджа Элиота, встречалась не выходящая замуж девушка, нежеланный ребенок и страшный позор, ложащийся на несчастную мать. На меня сильно подействовала несправедливость по отношению к женщине при таком положении вещей, и я тут же решила, согласовав это с рассказом о своих родителях, что буду жить, чтобы бороться против брака, за эмансипацию женщин и за право каждой женщины иметь одного или нескольких детей по своему желанию и воевать за свои права и добродетель. Для двенадцатилетней девочки приходить к таким выводам кажется очень странным, но жизненные условия рано сделали меня взрослой. Я стала изучать законы о браке и была возмущена, узнав о том состоянии рабства, в котором находились женщины. Я стала вглядываться в лица замужних женщин, подруг моей матери, и на каждом почувствовала печать ревности и клеймо рабы. И тогда я дала обет, что никогда не паду до состояния такого унижения, обет, который я всегда хранила, несмотря на то, что он повлек за собой отчужденность матери и был неправильно понят миром. Уничтожение брака – одна из положительных мер, принятых советским правительством. Двое лиц расписываются в книге, а под их подписями значится: «Данная подпись не влечет за собой никакой ответственности для участвующих и может быть признана недействительной по желанию любой из сторон». Подобный брак является единственным договором, на который могла бы согласиться свободомыслящая женщина, и брачное условие в такой форме – единственное, мною когда-либо подписанное.

В настоящее время, насколько мне известно, эти взгляды более или менее разделяются всеми свободомыслящими женщинами, но двадцать лет тому назад мой отказ выйти замуж и лично поданный пример права женщины рождать детей вне брака порождали крупные раздоры.

* * *

Только благодаря матери наша жизнь в детстве была насыщена музыкой и поэзией. По вечерам она сидела за роялем и часами играла, так как не было определенного времени, чтобы ложиться спать или вставать, как и вообще не было дисциплины. Больше того, уходя целиком в музыку и чтение стихов, мать как будто совершенно о нас забывала и безразлично относилась ко всему, происходившему вокруг. Наша тетка Августа, одна из сестер матери, была также удивительно даровита. Она часто гостила у нас и устраивала любительские спектакли. Была она очень красива: с черными глазами и черными, как смоль, волосами; и я вспоминаю ее, одетую Гамлетом в черных бархатных штанишках. У нее был прекрасный голос, и перед ней открывалась блестящая будущность певицы, но ее родители считали, что театр и все, к нему относящееся, от дьявола. Я только теперь отдаю себе отчет, насколько ее жизнь была погублена тем, что теперь даже трудно объяснить – пуританским духом Америки. Ранние американские поселенцы привезли с собой моральные представления, которые никогда вполне не утерялись. И их сила характера наложила отпечаток на первобытную страну, поразительно укрощая дикарей, индейцев и диких животных. Но поселенцы всегда старались укрощать и самих себя, что артистические дарования приводило к гибельным последствиям!

С раннего детства тетя Августа была пропитана этим пуританским духом. Ее красота, дивный голос, порывы – все пошло насмарку, что побуждало людей того времени восклицать: «Я бы охотнее увидел дочь мертвой, чем на сцене!» Почти невозможно понять это чувство в наши дни, когда великие артисты и артистки принимаются в самых замкнутых кругах. Веро-

ятно, нашей ирландской крови мы обязаны тем, что детьми всегда восставали против этой пуританской тирании.

Одним из первых последствий переезда в большой дом, подаренный нам отцом, явилось открытие братом Августином театра в амбаре. Я помню, как он вырезал кусок меха из ковра в гостиной и употребил его на бороду для Рип Ван Уинкля, которого он изображал так реально, что я расплакалась, глядя на него из публики. Маленький театр рос и даже приобрел славу в окрестностях. Позже нам пришла в голову мысль совершить турне по побережью. Я танцевала, Августин читал стихи, а затем шла комедия, в которой тоже принимали участие Элизабет с Раймондом. Хотя в то время мне было только двенадцать лет, а остальным немного больше, эти поездки по побережью в Санта-Клару, Санта-Розу, Санта-Барбару и т. д. были очень удачны.

Отличительной чертой моего детства был постоянный дух протеста против узости общества, в котором мы жили, против житейских ограничений, и растущее желание умчаться на восток к чему-то, что казалось мне простором. Так часто я припоминаю себя, произносящей речи семье и родным, речи, которые всегда заканчивались словами: «Мы должны покинуть эту местность, мы здесь никогда ничего не достигнем».

* * *

Из всей семьи я была самая храбрая и, когда в доме абсолютно нечего было есть, вызывалась пойти к мяснику и своими чарами заставить его дать нам бесплатно бараньих котлет. Именно меня посылали к булочнику, чтобы убедить его не прекращать отпуска в долг. Эти экскурсии мне представлялись веселыми приключениями, особенно когда мне везло, что случалось почти всегда. Домой я шла приплясывая и, неся добычу, чувствовала себя разбойником с большой дороги. Это было хорошим воспитанием, так как, научившись умасливать свирепых мясников, я приобрела навык, который мне впоследствии помогал сопротивляться свирепым антрепренерам.

Помню, однажды, когда я была совсем крошкой, я застала мать плачущей над связанными для продажи вещами, которые магазин отказался принять. Я взяла у нее корзинку, надела на голову вязаную шапочку, а на руки митенки и пошла из дома в дом торговать вразнос. Я все распродала и принесла домой вдвое больше, чем мать получила бы в магазине.

Когда я слышу, как отцы семейств говорят, что работают для того, чтобы оставить детям побольше денег, мне приходит в голову мысль: сознают ли они, что удаляют из жизни детей всякое стремление к приключениям? Ведь каждый оставляемый ими доллар ослабляет их ровно настолько же. Самое лучшее наследство, которое можно оставить ребенку, это способность на собственных ногах прокладывать себе путь. Преподавание ввело сестру (и меня) в самые богатые дома Сан-Франциско. Богатым детям я не завидовала, наоборот, жалела их. Я была поражена мелочностью и бессмысленностью их жизни, и мне казалось, что по сравнению с этими детьми миллионеров я в тысячу раз богаче всем, ради чего стоит жить.

Наша слава как преподавательниц возрастала. Мы называли наше преподавание новой системой танцев, но в действительности никакой системы не было. Я отдавалась своей фантазии и импровизировала, обучая всему красивому, что приходило мне в голову. Одним из моих первых танцев была поэма Лонгфелло «Я выпустил стрелу в пространство». Я читала стихотворение детям и учила их следовать за смыслом жестами и движениями. По вечерам мать нам играла, а я придумывала танцы. Наш друг, милая старушка, часто посещавшая нас по вечерам и когда-то жившая в Вене, говорила, что я ей напоминаю Фанни Эльслер, и рассказывала нам об ее триумфах. «Айседора будет второй Фанни Эльслер», – говорила она, и это вызывало во мне честолюбивые мечты. Она посоветовала матери свести меня к знаменитому балетмейстеру в Сан-Франциско, но его уроки мне не понравились. Когда учитель приказал мне подняться на цыпочки, я спросила его, зачем, и, выслушав ответ («Потому что это красиво»), возразила,

что это безобразно и неестественно, и после третьего урока покинула класс, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Напряженная и вульгарная гимнастика, которую он называл танцем, только смущала мои грезы. Я мечтала о другом танце. Я не представляла себе его ясно, но ощупью шла к невидимому миру, угадывая, что могу в него войти, стоит только отыскать ключ. Уже в детстве мое искусство таилось во мне и не было задушено благодаря духу матери, героическому и склонному к приключениям. Мне кажется, что ребенком надо начинать делать то, что человеку предстоит делать впоследствии. Интересно было бы знать, многие ли родители отдают себе отчет в том, что так называемым образованием, которое они дают детям, они только толкают их в повседневность и лишают всякой возможности создать что-либо прекрасное или оригинальное. Но, вероятно, так оно и должно быть, иначе кто бы давал нам те тысячи служащих для банков, магазинов и т. д., которые как будто необходимы для цивилизованной и организованной жизни.

У матери было четверо детей. Возможно, что принудительной системой образования она могла бы нас превратить в приспособленных к жизни граждан. Часто она горевала: «Почему все четверо – артисты и нет ни одного практически полезного деятеля?» Но артистами мы стали благодаря ее собственной прекрасной и мятущейся душе. Мать относилась совершенно безразлично ко всякого рода материальным благам и научила и нас взирать с великолепным пренебрежением ко всякой собственности в виде домов, мебели и имущества вообще. Только следуя ее примеру, я никогда в жизни не носила драгоценностей. Она учила нас, что все это лишь обременяет человека.

Покинув школу, я стала увлекаться чтением. В Окланде, где мы жили, была публичная библиотека, и я бегала туда, прыгая и танцуя всю дорогу, как бы далеко мы ни жили. Библиотекой заведовала удивительная и редкой красоты женщина, Айна Кулбрит, поэтесса из Калифорнии. Она поощряла мое чтение, и мне всегда казалось, что она радуется, когда я спрашиваю хорошие книги. Ее прекрасные глаза светились пламенем и страстью. Позже я узнала, что одно время отец сильно увлекался ею. Должно быть, она была его сильнейшая любовь, и, вероятно, прошлое невидимо притягивало меня к ней.

В ту пору я прочла произведения Диккенса, Теккерея и Шекспира, тысячи хороших и плохих романов, пожирая все подряд – и бессмыслицу, и книги, полные вдохновения. Мне случалось просиживать ночь напролет за книгой, читая до зари при свете огарков, которые я собирала в течение дня. Я также начала писать роман, а кроме того издавала газету, для которой сама же давала весь материал, и передовицы, и местную хронику, и короткие рассказы. Мало того, я еще вела дневник, для которого изобрела шифр, так как в то время я скрывала от других большую тайну. Я была влюблена.

Помимо руководства детскими классами, мы с сестрой взяли еще несколько взрослых учеников, которым она преподавала то, что тогда называлось «светскими танцами», т. е. вальс, мазурку, польку и т. д. Среди этих учеников было двое молодых людей: один – начинающий доктор, а другой – аптекарь. Аптекарь отличался поразительной красотой и назывался чудным именем – Верной. Мне тогда было одиннадцать лет, но выглядела я старше, так как носила высокую прическу и длинное платье. Как героиня Риты, я написала в своем дневнике, что безумно, страстно влюблена, и, вероятно, так оно и было. Я не знаю, догадывался ли об этом Верной или нет, потому что в те годы я была слишком застенчива, чтобы открыть свою страсть. Мы ездили на балы и вечера, на которых он танцевал почти исключительно со мной. Затем, вернувшись домой, я до раннего утра просиживала над своим дневником, поверяя ему, как сильно я трепетала, когда, по моему выражению, «неслась в его объятиях». Днем он работал в аптеке на главной улице, и я бежала за несколько миль только для того, чтобы один раз пройти мимо. Иногда я набиралась храбрости и входила, чтобы сказать: «Здравствуйте». Я узнала, где он живет, и по вечерам уходила из дому, чтобы стоять и смотреть на свет в его окне. Это увлечение продолжалось два года, и мне казалось, что я глубоко страдаю. В конце

концов он объявил о своей предстоящей свадьбе с молодой светской девушкой из Окланда. Свое отчаянное горе я излила на страницах дневника и до сих пор помню день свадьбы и все, что я перечувствовала, когда увидела его идущим по церкви рядом с бесцветной девушкой под белой вуалью. После этого я перестала с ним встречаться.

Во время моего последнего выступления в Сан-Франциско ко мне в уборную вошел господин с белоснежными волосами, который, однако, выглядел молодо и поражал красотой. Я его сразу узнала. Это был Верной. Мне показалось, что после стольких лет я могу признаться ему в страсти своей юности. Я думала, что это его позабавит, но он ужасно испугался и начал говорить о жене, той бесцветной девушке, которая, как оказалось, была еще жива и продолжала сохранять любовь мужа. Как несложна бывает жизнь некоторых людей!

Такова была моя первая любовь. Я была безумно влюблена, и мне кажется, что с той поры не перестаю быть влюбленной. В настоящее время я выздоравливаю от последнего припадка, бурного и губительного. Я, если можно так выразиться, поправляюсь, пользуясь антрактом перед последним действием своей жизни, или, может быть, пьеса уже закончена?

3

Под влиянием прочитанных книг я задумала покинуть Сан-Франциско и уехать за границу. Мне пришла в голову мысль присоединиться к какой-нибудь большой театральной труппе. Однажды я пошла повидать антрепренера гастролирующей труппы, остановившейся на неделю в Сан-Франциско, и попросила, чтобы он разрешил протанцевать перед ним. Проба состоялась утром на большой, темной, пустой сцене. Мать мне аккомпанировала. Я танцевала некоторые «Песни без слов» Мендельсона в короткой белой тунике. Когда музыка умолкла, антрепренер некоторое время молчал, а затем, обернувшись к матери, сказал:

– Для театра это никуда не годится. Это, скорее, для церкви. Советую вам отвести вашу девочку домой.

Разочарованная, не отказавшаяся от своего намерения, я начала составлять другие планы и, созвав семейный совет, говорила целый час, выясняя, почему жизнь в Сан-Франциско невозможна. Мать была немного сбита с толку, но согласилась следовать за мной повсюду, и мы уехали первыми, взяв два билета для туристов до Чикаго. Сестра и два брата остались в Сан-Франциско, с тем чтобы присоединиться к нам, когда я заработаю деньги на содержание семьи.

В жаркий июньский день мы приехали в Чикаго с небольшим сундуком, кое-какими старинными, доставшимися от бабушки драгоценностями и двадцатью пятью долларами в кармане. Я была уверена, что сразу получу ангажемент и что все наладится приятно и без затруднений. Но вышло не так. Имея при себе свою маленькую греческую тунику, я переходила от одного антрепренера к другому и танцевала перед каждым. Но все они сходились во мнении с первым: «Это прелестно, но не для театра».

Недели проходили, деньги наши растаяли, а заклад бабушкиных драгоценностей дал не очень много. Случилось неизбежное. У нас не было денег заплатить за квартиру, вещи наши были задержаны за долг, и в один прекрасный день мы очутились на улице без единого пенни в кармане.

На моем платье сохранился воротник из настоящих кружев, и в тот день я часами ходила по палящему солнцу, стараясь продать кружева. В конце концов к вечеру мне это удалось. (Насколько помню, воротник был продан за десять долларов.) Чудный кусок ирландских кружев дал мне столько, что хватило заплатить за комнату. Мне пришла в голову мысль купить на оставшиеся деньги ящик помидоров, и ими – без хлеба и соли – мы питались в течение недели. Несчастная мать так ослабела, что не могла сидеть. Ранним утром я отправлялась к антрепренерам, но наконец решила взять первую попавшуюся работу и обратилась в контору по приисканию мест.

– Что вы умеете делать? – спросила женщина, сидевшая за конторкой.

– Все! – отвечала я.

– Похоже на то, что абсолютно ничего!

В отчаянии я однажды пошла к управляющему кафе на крыше «Масонского дворца». С сигарой в зубах и в шляпе, надвинутой на один глаз, он пренебрежительно следил за мной, пока я порхала под звуки мендельсоновской «Весенней песни».

– Ну, вы, конечно, хорошенькая и грациозная, – сказал он, – и я возьму вас, если вы все это измените и будете танцевать, подбавив немного перцу.

Я вспомнила бедную мать, теряющую сознание на последних помидорах, и спросила его, что он называет «подбавить перцу».

– Не то, что вы делаете, – сказал он, – а что-нибудь с юбками, оборками и дрыганьем ног. Вы могли бы сперва пустить греческое и потом перейти на оборки и дрыганье. Это был бы интересный номер.

Но где мне было достать оборки? Я сообразила, что просить в долг или вперед невыгодно, и только обещала вернуться на другой день с оборками, дрыганьем и перцем. Я вышла. День был жаркий – настоящая чикагская погода. Усталая и слабая от голода, я бродила по улицам, пока не очутилась перед одним из больших магазинов Маршаля Фильда. Войдя, я спросила управляющего, и меня провели в контору, где за письменным столом сидел молодой человек. У него было доброе лицо, и я объяснила ему, что мне к завтрашнему утру необходимо иметь юбку с оборками и что если он мне даст ее в долг, я ему легко заплачу по получении ангажемента. Я не знаю, что побудило молодого человека согласиться на мою просьбу, но только он согласился. Много лет спустя я его встретила, когда он сделался архимиллионером Гордоном Сельфриджем. Я взяла белой и красной материи для юбок и кружев для оборок и отправилась с пакетом домой, где нашла мать при последнем издыхании. Однако она храбро приподнялась, села на кровати и стала шить мне костюм для выступления. Она проработала всю ночь, и к утру последние оборки были на месте. С этим костюмом я вновь явилась к управляющему садом на крыше и нашла оркестр готовым для пробы.

– Под какую музыку вы танцуете? – спросил управляющий.

Я об этом раньше не подумала, но ответила: «Под «Вашингтонскую почту», в то время очень популярную. Музыка заиграла, я приложила все усилия, чтобы показать управляющему танец с перцем, импровизируя по мере того, как танцевала. Он пришел в восторг и заявил:

– Это прекрасно! Я выпущу специальные афиши, и вы можете прийти завтра вечером.

Он назначил пятьдесят долларов в неделю и был так добр, что выдал их вперед.

В этом саду на крыше под вымышленной фамилией я пользовалась большим успехом, но выступления там были мне так противны, что я отказалась, когда в конце недели он предложил мне продолжить контракт или даже отправиться в турне. Мы были спасены от голода, но с меня было достаточно забавлять публику тем, что противоречило моим идеалам. И я это сделала в первый и последний раз.

Мне кажется, что переживания этого лета были самыми тяжелыми в моей жизни, и каждый раз, когда я впоследствии появлялась в Чикаго, вид улиц вызывал во мне тошнотворное чувство голода.

Но среди самых тяжелых испытаний храбрая мать ни разу даже не намекнула на возможность вернуться домой.

Как-то мне дали рекомендательную карточку к помощнице редактора одной из крупных чикагских газет, журналистке Эмбер. Это была высокая сухопарая женщина лет пятидесяти пяти, с рыжими волосами. Я изложила свои взгляды на танцы, и она, выслушав меня ласково, пригласила нас с матерью в «Богемию», где, по ее словам, нас ждала встреча с артистами и литераторами. В тот же вечер мы пошли в этот клуб. Он находился в верхнем этаже высокого здания и представлял собой несколько комнат с незатейливой обстановкой, состоявшей из стульев и столов. Самые необыкновенные люди, мною когда-либо встреченные, наполняли помещение, и среди них выделялась Эмбер, кричавшая мужским голосом:

– Объединяйтесь, добрые богемцы! Добрые богемцы, объединяйтесь!

И в ответ на ее призыв богемцы поднимали кружки с пивом и отвечали криками и песнями.

В такой обстановке я выступила со своей священной пляской. Богемцы стали в тупик. Они не знали, как меня понять, но все же решили, что я милая девочка, и приглашали заходить каждый вечер. Они были самым причудливым людским сочетанием: тут были поэты, художники и артисты всех национальностей, и связывало их лишь одно – полное отсутствие денег. Я подозреваю, что, как и мы, многие богемцы не питались бы ничем, не будь в клубе бутербродов и пива, которые большей частью поставлялись щедрой Эмбер.

Среди богемцев был поляк по фамилии Мироский, лет сорока пяти, с копной рыжих курчавых волос на голове, рыжей бородой и проницательными голубыми глазами. Обычно

он сидел в углу, курил трубку и с иронической улыбкой следил затем, что «представляли» богемцы. Но он был единственный из толпы, перед которой я в те дни танцевала, понимавший мои идеалы и мою работу. Он был тоже очень беден, но все же часто приглашал мать и меня обедать в какой-нибудь ресторанчик или за город, где угощал завтраком в лесу. Он страстно любил золотень и, приходя ко мне, всегда приносил эти цветы охапками. С тех пор эти красно-золотые цветы связываются в моем представлении с рыжими волосами и бородой Мироского… Странный он был человек. Поэт и художник, он пытался зарабатывать себе пропитание коммерческими делами в Чикаго, но безуспешно и чуть не умирая с голоду… Тогда я была еще совсем маленькой девочкой и не могла понять ни его трагедии, ни его любви. Мне кажется, что в наше время, полное софизмов, никто не может себе представить, насколько невежественны и наивны были американцы тех дней. Мои жизненные понятия отличались тогда исключительной лиричностью и романтизмом. Я была еще совершенно чужда физическим проявлениям любви, и прошло много времени, прежде чем я отчетливо поняла, какую дикую страсть я возбуждала в Мироском. Этот сорокапятилетний или близкий к этому возрасту человек влюбился с той безумной страстью, на которую способен только поляк, в наивную, невинную девочку, какой я тогда была. У матери, очевидно, не было никаких подозрений, и она позволяла нам подолгу оставаться одним. Частое пребывание вдвоем и продолжительные прогулки в лесу произвели в конце концов должное психологическое действие. Когда он наконец не удержался от искушения поцеловать меня и попросил стать его женой, я решила, что это будет самая большая и единственная любовь моей жизни.

Но лето приходило к концу, а мы сидели совершенно без денег. Я убедилась, что мы не можем надеяться достичь чего-нибудь в Чикаго и что надо уехать в Нью-Йорк. Но каким образом? Как-то я прочла в газетах, что великий Августин Дейли вместе со своей труппой, во главе которой блистала Ада Реган, находится в городе. Я пришла к заключению, что должна повидать великого человека, который среди американских антрепренеров пользовался репутацией самого большого эстета и любителя искусства. Я провела много полуденных и вечерних часов у дверей театра и бесконечное число раз просила доложить о себе Августину Дейли. Мне неизменно отвечали, что он слишком занят и что я должна обратиться к его помощнику. От этого я уклонилась, говоря, что мне необходимо лично переговорить с Дейли по важному делу. Наконец как-то вечером, в сумерки, я была допущена к всесильному. Августин Дейли был человек редко благородной наружности, но с посторонними умел казаться свирепым. Несмотря на испуг, я собралась с духом и произнесла длинную и необыкновенную речь:

– Я должна вам открыть великую мысль, г-н Дейли, и вы, вероятно, единственный человек в стране, который способен ее понять. Я возродила танец. Я открыла искусство, потерянное в течение двух тысяч лет. Вы великий художник театра, но театру вашему недостает одного, недостает того, что возвысило древний греческий театр, недостает искусства танца – трагического хора. Без него театр является головой и туловищем без ног. Я вам приношу танец, даю идеи, которые революционизируют всю нашу эпоху. Где я его нашла? У берегов Тихого океана, среди шумящих хвойных лесов Сьерры-Невады. Мне открылась на вершинах гор Роки безупречная фигура танцующей молодой Америки. Самый великий поэт нашей страны – Уолт Уитман. Я открыла танец, достойный его стихов, как его настоящая духовная дочь. Я создам новый танец для детей Америки, танец, воплощающий Америку. Я приношу вашему театру душу, которой ему недостает, душу танцора. Так как вы знаете, – продолжала я, стараясь не обращать внимания на попытки великого антрепренера меня прервать («Этого достаточно! Этого вполне достаточно!»), – так как вы знаете, – продолжала я, возвышая голос, – что родиной театра был танец и что первым актером был танцор. Он плясал и пел. Тогда родилась трагедия, и ваш театр не обретет своего истинного лица, пока танцор не возвратится в него во всем порыве своего великого искусства!

Августин Дейли не знал, как отнестись к странному худому ребенку, у которого хватило дерзости так с ним разговаривать, и ограничился тем, что сказал:

– У меня свободна небольшая роль в пантомиме, которую я ставлю в Нью-Йорке. Первого октября вы можете явиться на репетицию и будете ангажированы, если подойдете. Как вас зовут?

– Меня зовут Айседорой, – ответила я.

– Айседора. Красивое имя, – заметил он. – Итак, Айседора, я с вами увижусь в Нью-Йорке первого октября.

Не помня себя от восторга, я бросилась домой к матери.

– Мама, наконец-то кто-то меня оценил! – воскликнула я. – Меня принял в свою труппу великий Августин Дейли. Мы должны быть в Нью-Йорке к первому октября.

– Это хорошо, – сказала мать, – но как мы раздобудем билеты?

Это был действительно вопрос. Мне пришла в голову блестящая мысль. Я послала следующую телеграмму друзьям в Сан-Франциско: «Блестящий ангажемент. Августин Дейли. Должна быть в Нью-Йорке первого октября. Телеграфно переведите сто долларов на дорогу».

Случилось чудо. Деньги пришли. Деньги появились, а вслед за ними сестра Элизабет и брат Августин, которые воодушевились телеграммой и решили, что наше будущее обеспечено. Безумно взволнованные и полные радужных надежд, мы все-таки умудрились сесть в нью-йоркский поезд. Наконец-то, мечтала я, мир меня признает! Я, наверное, упала бы духом, если бы знала, сколько времени должно пройти до того, как это признание совершится.

Иван Мироский был вне себя от отчаяния при мысли, что должен расстаться со мной, но мы поклялись друг другу в вечной любви, и я ему объяснила, как легко нам будет пожениться, когда я разбогатею в Нью-Йорке. В то время я, чтобы доставить удовольствие матери, готова была согласиться на брак, хотя в него не верила. Я еще не подняла меч за свободную любовь, за которую впоследствии так много боролась.

4

Нью-Йорк сразу же произвел на меня впечатление города, более близкого к искусству, чем Чикаго. Кроме того, я была счастлива снова находиться около моря. Города, удаленные от моря, меня всегда душат. Мы остановились в пансионе на одной из боковых улиц, прилегающих к Шестой авеню. В нем собралась странная коллекция людей. Их, как и членов «Богемы», объединяла одна общая черта: все они жили в непосредственной близости к выселению, потому что не были в состоянии платить по счетам.

В одно прекрасное утро я появилась у дверей, ведущих на сцену театра Дейли, и была снова допущена к великому человеку. Я хотела, как и в прошлый раз, сообщить ему свои взгляды, но он казался очень взволнованным и занятым.

– Мы привезли из Парижа Джен Мэй, светило пантомимы, – сказал он. – Для вас тоже есть роль, если вы сумеете выступить в пантомиме.

Пантомима мне никогда не представлялась искусством. Движение является выражением лирики и эмоции, которое не имеет ничего общего со словами, в пантомиме же слова заменяются жестами, и она, таким образом, не представляет собой ни хореографического, ни драматического искусства, а находится между ними и поэтому ничего не дает. Но другого выхода не было, и приходилось брать роль. Я взяла ее домой для ознакомления и нашла, что все вместе взятое очень глупо и совершенно недостойно моих стремлений и идеалов.

Первая репетиция была страшным разочарованием. Джен Мэй была маленькая, крайне вспыльчивая женщина, пользовавшаяся всяким удобным случаем, чтобы выйти из себя. Мне показалось верхом нелепости, когда пришлось указывать на нее пальцем, чтобы сказать «вы», прикладывать руку к сердцу, чтобы сказать «любите», и сильно ударять себя в грудь, чтобы сказать «меня». Во все это я вкладывала так мало души, что Джен Мэй пришла в негодование. Повернувшись к г. Дейли, она объявила, что у меня нет ни капли таланта и что роль мне совершенно не по силам. Я сообразила, что мы можем оказаться на мели в пансионе во власти бессердечной хозяйки. Перед моими глазами встал образ маленькой хористки, накануне выброшенной на улицу без вещей, и я вспомнила все, что выстрадала мать в Чикаго. От этих мыслей слезы выступили у меня на глазах и потекли по щекам. Я выглядела, вероятно, очень жалкой и несчастной, так как лицо г-на Дейли смягчилось. Он потрепал меня по плечу и сказал, обращаясь к Джен Мэй:

– Посмотрите, как она выразительно плачет. Она научится.

Репетиции были для меня настоящим мытарством. Мне приказывали делать движения, которые я находила вульгарными и глупыми и которые не стояли ни в какой связи с музыкой, под которую исполнялись. Но юность быстро приспосабливается, и я в конце концов освоилась с ролью.

Джен Мэй играла Пьеро, и был момент, когда я должна была ему признаваться в любви. Трижды, под различные мелодии, мне приходилось подходить к Пьеро и целовать его в щеку. На генеральной репетиции я это проделала так энергично, что на белой щеке Пьеро остались следы моих красных губ. Пьеро немедленно превратился в полную ярости Джен Мэй и стал меня награждать оплеухами. Прекрасное начало театральной карьеры!

И все же, по мере того как шли репетиции, я не могла не восторгаться необыкновенной и живой выразительностью этой мимической артистки. Она могла бы стать великой танцовщицей, не будь она заключена в ложные и пошлые рамки пантомимы. Но рамки были слишком тесны. Мне всегда хотелось сказать участникам пантомимы:

– Если вы хотите говорить, то почему же вы не говорите? Зачем тратить столько усилий на жесты, словно в училище для глухонемых?

Настал вечер первого представления. Я была одета в голубой шелковый костюм Директории, имела на голове светлый парик и большую соломенную шляпу. Горе тебе, революция искусства, которую я хотела произвести в мире! Я потеряла свой облик и совершенно преобразилась. Милая мама сидела в первом ряду и была сильно смущена, но и тут не предложила вернуться в Сан-Франциско, хотя я видела, насколько она огорчена. Столько борьбы – и такой жалкий результат!

У нас совершенно не было денег, пока шли репетиции этой пантомимы. Нас выселили из пансиона, и пришлось нанять две комнаты без всякой меблировки на 180-й улице. Денег на разъезды не хватало, и я часто бывала принуждена идти пешком к Августину Дейли на 29-ю улицу. Чтобы путь казался короче, я придумала целый ряд способов передвижения: бежала по грязи, ходила по деревянным тротуарам и прыгала по каменным. У меня не было средств на завтрак, и пока все уходили подкрепиться, я забиралась в литерную ложу и в изнеможении засыпала, а потом на голодный желудок снова принималась за репетицию. До начала спектаклей я таким образом репетировала в течение шести недель, а затем целую неделю выступала раньше, чем получила жалованье.

После трех недель в Нью-Йорке труппа отправилась странствовать, выступая всюду по одному разу. На все мои расходы я получала пятнадцать долларов в неделю, причем половину посылала домой матери, чтобы дать ей возможность как-нибудь существовать. Когда мы выгружались на вокзале, я не ехала в гостиницу, а брала свой чемодан и пешком отправлялась разыскивать пансион подешевле. Я не могла тратить на себя больше пятидесяти центов в день, и иногда мне приходилось плестись бесконечно долго, прежде чем я находила то, что искала. Порой я попадала в очень странные закоулки. Как-то мне отвели комнату без ключа, и мужское население квартиры, почти поголовно пьяное, все время пыталось проникнуть ко мне. В ужасе я протащила тяжелый шкаф через всю комнату и забаррикадировала им дверь, но и после того не решалась заснуть и всю ночь была настороже. Я не могу себе представить более позабытого Богом существования, чем то, которое называется «путешествием» с театральной труппой.

Со мной было несколько книг, и я читала без устали. Я каждый день писала длинные письма Ивану Мироскому, но не думаю, чтобы из них он мог составить себе ясное представление, насколько я несчастна.

После двухмесячного турне наша труппа возвратилась в Нью-Йорк. Все предприятие закончилось для г. Дейли большими убытками, и Джен Мэй вернулась в Париж.

Что ожидало меня? Я снова явилась к г. Дейли и опять сделала попытку заинтересовать его своим искусством, но он казался совершенно глухим и безразличным ко всему, что я могла ему предложить.

– Моя труппа уезжает и берет с собой «Сон в летнюю ночь», – сказал он, – если хотите, вы можете танцевать в феерии.

Я считала, что танец должен выражать чувства и стремления человека. Феи меня не интересовали, но я согласилась и предложила протанцевать в лесной сцене, перед появлением Титании и Оберона, под скерцо Мендельсона.

Когда взвился занавес и начался «Сон в летнюю ночь», я была одета в длинную прямую тунику из белого и золотого газа с двумя крыльями, покрытыми блестками. Я категорически отказывалась от крыльев, считая их смешными, и пыталась убедить г. Дейли в том, что могу изобразить крылья, не прибегая к картону, но он настоял на своем. В первый спектакль я вышла танцевать одна. Я была в восторге – наконец-то я могла танцевать одна на большой сцене перед большой публикой. И я танцевала так хорошо, что публика разразилась неожиданными аплодисментами. Я произвела так называемую сенсацию. Вернувшись, я ожидала увидеть радостного г. Дейли и принять его поздравления. Но он встретил меня с бешеной яростью. «Здесь не кафе-шантан!» – загремел он. В самом деле, являлось совершенно неслыханным, чтобы публика аплодировала этому танцу. В следующий вечер, выбежав на сцену, я увидела, что все огни

потушены. И каждый раз, как я выступала в «Сне в летнюю ночь», мне приходилось танцевать в темноте. На сцене ничего не было видно, кроме белого порхающего существа.

После двухнедельного пребывания в Нью-Йорке «Сон в летнюю ночь» тоже отправился в турне, и опять начались унылые переезды и поиски пансионов, с той только разницей, что теперь мое жалованье было повышено до двадцати пяти долларов в неделю.

Так прошел год.

Я была крайне несчастна. Мои мечты, идеалы, стремления – все казалось напрасным.

В труппе меня считали странной, и я сошлась с очень немногими. За кулисами я прогуливалась с томиком Марка Аврелия в руках и старалась придерживаться стоической философии, чтобы заглушить постоянное чувство отчаяния.

Звездой труппы Августина Дейли считалась Ада Реган – выдающаяся артистка, но крайне несимпатичный человек, в особенности в отношениях с младшими артистами, и единственной моей радостью было следить за ее игрой. Она редко гастролировала со странствующей труппой, к которой я принадлежала, но по возвращении в Нью-Йорк я часто любовалась ею в ролях Розалинды, Беатрисы и Порции. Женщина эта была одной из величайших артисток мира, но в повседневной жизни ничем не старалась заслужить расположение других членов труппы. Очень гордая и замкнутая, она, казалось, считала за труд даже поздороваться с нами, так как за кулисами было однажды расклеено такое объявление: «Просят принять к сведению, что труппа может не здороваться с г-жой Реган».

За те два года, что я работала у Августина Дейли, я ни разу не имела удовольствия беседовать с г-жой Реган. Она, очевидно, считала всю меньшую братию недостойной своего внимания. Помню, как однажды ее задержал Дейли, занимавшийся с нами групповыми сценами, и она, указав на нас рукой, воскликнула: «Послушайте, батенька, как вам не стыдно заставлять меня ждать из-за этих ничтожеств!» (Принадлежа к ничтожествам, я, естественно, не была в восторге от ее замечания!) Я не могу понять, как такая великая артистка и очаровательная женщина, как Ада Реган, могла быть столь мелочной, и могу это объяснить только тем, что ей в то время было уже почти пятьдесят лет. Долгое время она была кумиром Августина Дейли, и ее, должно быть, возмущало, когда впоследствии он выбирал из труппы какую-нибудь хорошенькую девушку и на две-три недели, а иногда на два или три месяца, без всякой видимой причины, но, вероятно, по соображениям, неприятным г-же Реган, выдвигал избранницу на первые роли. Я глубоко восхищалась Адой Реган как артисткой, и в те времена услышать от нее ласковое слово ободрения было бы очень важно для всей моей последующей жизни. Но за все два года она даже ни разу не взглянула на меня. Мало того, когда я танцевала в «Буре», в сцене бракосочетания Миранды и Фердинанда, она умышленно отворачивалась в течение всего танца, чем привела меня в такое смущение, что я с трудом могла продолжать.

Во время нашего турне со «Сном в летнюю ночь» мы попали в Чикаго. Я была вне себя от радости при встрече с моим предполагаемым женихом. Снова стояло лето, и в дни, свободные от репетиций, мы подолгу гуляли в лесу. Я все больше и больше ценила ум Ивана Мироского. Через несколько недель я уехала в Нью-Йорк, условившись, что он вскоре последует за мной и там на мне женится. Узнав об этом, мой брат навел справки и выяснил, что у Мироского уже есть жена в Лондоне. Мать в ужасе настояла на полном разрыве.

5

Вся наша семья была теперь в Нью-Йорке. Мы умудрились нанять мастерскую художника с ванной и купили пять пружинных матрацев, так как я хотела иметь достаточно места для танцев. Мы завесили стены драпировками, а матрацы на день ставили стоймя. Кроватей у нас не было, мы спали на матрацах и укрывались перинами. Как и в Сан-Франциско, Элизабет открыла школу, помещавшуюся тут же. Августин вступил в театральную труппу и дома бывал редко. Он большей частью проводил время на гастролях. Раймонд пробовал свои силы в журналистике. Для покрытия расходов мы сдавали мастерскую по часам преподавателям пения, музыки, декламации и т. д. Комната была только одна, и всей семье приходилось уходить гулять. Я вспоминаю, как бродила в снегу по Центральному парку, стараясь не замерзнуть. Вернувшись домой, мы подслушивали у двери. Один из учителей декламации всегда давал заучивать стихотворение «Мэбель, маленькая Мэбель стоит, прижавшись лицом к стеклу» и сам повторял его с утрированным пафосом. Ученик же читал монотонным голосом и без всякого выражения, что неизменно вызывало восклицание преподавателя:

– Но неужели вы не чувствуете всего пафоса? Неужели вы его не чувствуете?

Августину Дейли пришла в это время в голову мысль поставить «Гейшу». Мне было назначено петь в квартете… Мне, которая в своей жизни не могла пропеть ни одной ноты! Мои три компаньона жаловались, что я их постоянно сбиваю с тона, и поэтому я стояла паинькой рядом и открывала рот, не издавая ни звука. Мать удивлялась, что я сохраняю очаровательное выражение лица, в то время как остальные, когда поют, строят ужасные гримасы.

Глупость «Гейши» была последней каплей, переполнившей чашу в моих отношениях с Августином Дейли. Однажды, проходя по темному театру, он увидел меня плачущей на полу ложи.

Наклонившись, он спросил, что случилось, и я ответила, что не могу больше выносить бессмысленности того, что творится в его театре. Он возразил, что «Гейша» ему нравится не больше, чем мне, но что необходимо заботиться о финансовой стороне дела. Затем, чтобы утешить, Дейли погладил меня по спине, но это меня только рассердило.

– Какой смысл держать меня с моим талантом здесь, – сказала я, – раз мне все равно не находят применения?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.